

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ИСТОРИИ РУССКОГО ТЕРРОРИЗМА XIX ВЕКА

В статье рассмотрены актуальные аспекты проблемы национальности в истории терроризма в России XIX века в связи с выявлением предпосылок формирования социальных конфликтов современности.

Русский терроризм XIX века определяется сегодня как социально-политический. Между тем для современников чрезвычайно важна была национальная составляющая в террористическом движении данного периода. Для землевольцев и народовольцев национальный вопрос стоял далеко не на первом месте; но в глазах общественного мнения именно национальное происхождение террористов, начиная с Каракозова, имело чрезвычайное значение.

В 1859 году И. С. Тургенев опубликовал роман «Накануне»; главным героем романа был болгарский революционер Дмитрий Инсаров, мечтающий освободить свою родину от турецкого ига. «Освободить свою родину! — восклицала русская девушка Елена Стахова, влюбленная в Инсарова, — эти слова и выговорить страшно — так они велики!». «Освободить свою родину» — это мог быть эвфемизм: в 1859 году Россия жаждала освобождения не меньше, чем Болгария, — но другого. Возможно, автор романа предлагал молодому поколению подумать, что сейчас наиболее благородно: расшифровать иносказание или воспринять призыв к сочувствию угнетенным болгарам буквально. Тургенев ориентировался, скорее всего, на идеологию только что завершившегося царствования: Николай I, как известно, отказался

помогать страждущим единоверцам (болгарам) не по причине личного жестокосердия, но потому, что, по его глубокому убеждению, в этой жизни право государя (турецкого султана по отношению к своим подданным — болгарам) должно было стоять выше интересов веры¹.

Критик Н. А. Добролюбов был человек прямой и суровый; он, во-первых, не знал и знать не хотел никаких эвфемизмов; во-вторых — жил уже в другом времени и другими идеями. Он не увидел ничего прогрессивного в противопоставлении права государя и права борьбы за национальную свободу. В статье «Когда же придет настоящий день?»², посвященной роману, он потребовал недвусмысленного ответа на вопрос, *чью* родину следует спасать. А заодно и разъяснил недогадливому читателю, на чем основан выбор героя: отечественная цензура, глупая и боязливая, не пропустила бы произведения о русском борце за свободу. Выбор болгарина случаен, сказал Добролюбов, так как на его месте мог бы быть любой славянин, кроме *поляка* и *русского*: не только Болгария страдает от чужеземного гнета. Таким образом, он наметил две оппозиции: первая — все братья славяне (и поляк, и русский); вторая — русский и поляк.

Польский вопрос был чрезвычайно болезнен для русских XIX века и для са-

мих поляков: периодические разделы Польши, присоединение части ее территории к России (официально считалось, что эта мера имела крайне положительные последствия — стабилизацию польской экономики и восстановление правопорядка) привели к тому, что Польша, находящаяся на положении полуколонии, жаждала независимости. Поляки поднимали восстания (в 1830 и 1863 годах), русское правительство эти восстания жестоко подавляло. «Польский патриот» Валериан Лукасинский³ провел в одиночном заключении 48 лет, из них 37 — в Шлиссельбурге, и к концу его пребывания в крепости даже начальник III Отделения не знал, кто это такой и за что посажен (последнее так и осталось загадкой — видимо, одного только «польского патриотизма» было достаточно, чтобы умереть заключенным).

Прогрессивная часть русского общества сочувствовала полякам (так, поэтесса Е. Ростопчина пострадала за свое стихотворение «Неравный брак», где под видом супружеской размолвки была представлена распря двух народов, о чем «доброжелатели» немедленно сообщили Николаю I). В середине XIX века сочувствие Польше превратилось в разновидность политической оппозиционности; «порядочные» люди опознавали друг друга по сочувствию польскому восстанию 1863 года⁴. Обыватели и «патриоты» относились к полякам настороженно и склонны были ожидать от них каких угодно гаостей. Например, во время знаменитых петербургских пожаров 1862 года среди народа бытовало убеждение, что во всем виноваты «студенты и поляки». «Студентов» и «поляков» отлавливали и били, руководствуясь исключительно внешним признаком — длиной волос.

Эту замечательную мифологему обывательского сознания (о безусловной вине во всех национальных бедствиях поляков и студентов [нигилистов]) реализовал В. Крестовский в романе «Кровавый пуф» (1875 г.), где польский заговор

занимает обычное место заговора жидомасонского: поляки везде, во всех городах и во всех слоях общества, они паразитируют на теле доверчивого русского народа, они плетут интриги и умело манипулируют революционерами (нигилистами), заставляя их производить подрывные действия — например, разбрасывать листовки и поднимать на бунт крестьян. Соответственно, то, что кажется подготовкой русской революции, есть на самом деле подготовка польского восстания, и те, кого вы, быть может, считаете борцами за свободу забитого русского народа, на самом деле борются за свободу гордого народа польского. Вот пример национального коварства в романе: прекрасная собою польская дворянка, супруга губернатора, рядится в черное платье и носит его день за днем, а русские губернские дамы, в коих сильно развит подражательный элемент, вослед за губернаторшей также все сплошь облачаются в черное. Вероятно, черный цвет гордой полячке к лицу, — ан нет, она носит траур по несчастному угнетенному отечеству и, диктуя моду, принуждает носить траур по этому поводу и наивных дам, которые так никогда и не узнают, какое отступничество совершили.

К чести русского общества, роман вызвал возмущение, а не радость по поводу того, что наконец-то хоть кто-то открыл глаза на происходящее. Между прочим, сюжет польского негодяйства выражен, хотя и не так ярко, и в романе Крестовского «Петербургские трущобы», известном современной публике благодаря телесериалу «Петербургские тайны». Однако сегодня, когда никто не воспринимает поляков как внутренних врагов, никто не в силах и понять, на что намекает автор, давая главному подлецу фамилию Бодлевский.

Но атмосфера обывательской полонофобии сделала свое дело: когда, по зову Добролюбова, *русский* деятель, наконец, явился (Каракозов выстрелил в Александра II 4 апреля 1866 года у решетки Лет-

него сада), во-первых, никто не обрадовался, ни либералы⁵, ни консерваторы. Во-вторых, его немедленно сочли поляком. «Нет! Он не русский! Он не может быть русским! Он поляк!» — надрывался в «Северной пчеле» М. Катков⁶. И хотя уже через несколько дней личность преступника выяснили, — это был саратовский помещик Дмитрий Владимирович Каракозов, двадцати шести лет («Прискорбно, но он русский», — меланхолически заметил Государь Император) — тайная надежда на польское его происхождение долго еще не умирала в сердцах властей предрезающих.

Именно эта надежда и привела к тому, что с несчастным Каракозовым (душевнобольным, по мнению знавших его лично⁷) обходились крайне жестоко. Слухи о пытках арестанта широко распространились в русском обществе, хотя пытки, в прямом смысле этого слова, к Каракозову не применяли. Но ему не давали спать сутками; если он засыпал, его будили каждые четверть часа (бедняга даже научился спать сидя на стуле и качать во сне ногой, чтобы вводить в заблуждение своих мучителей — однако они его разоблачили и долго возмущались избытком сообразительности у своего подопечного⁸). Цель этой меры была такова: предполагалось, что однажды спросонок Каракозов потеряет контроль над собой, *заговорит по-польски* и тем выдаст свое истинное происхождение. Тогда все бы объяснилось, все бы встало на свои места: русский народ по-прежнему бы возлюбил своего царя-батюшку, а народ польский вновь был бы уличен в черной неблагодарности и низком коварстве.

В деле есть еще один персонаж — некто Осип Комиссаров, тульский картузник, якобы толкнувший злоумышленника под руку в самый момент выстрела. Ни тогда, ни сейчас никому нет дела до правды — сделал это Комиссаров или ему это придумали. Сама рефлекторность его движения сто сорок лет назад трактовалась как инстинктивная готовность

русского человека встать на защиту государя, а в годы советской власти — как досадная случайность, помешавшая исполнению великого замысла и избличающая равнодушие народа к судьбе царя: ну подумаешь, рука нечаянно дернулась...

Газеты и журналы в 1866 году восхваляли Комиссарова, его подвиг сравнивали с подвигом Сусанина, и надо же — какая неожиданная, приятная подробность! — он как раз происходит из-под Костромы, из мест, давших когда-то России Ивана Сусанина! Страна ликовала: царь опять чудесно спасен. Во всех церквях служили благодарственные молебны (бывший народоволец Лев Тихомиров, уже в пору своего раскаяния, замечал, что радоваться было, собственно, нечему, ибо день, когда русский человек стреляет в русского царя, следует считать не самым радостным, а самым прискорбным...); Комиссарову срочно пожаловали дворянство (отныне он стал зваться Комиссаров-Костромской); патриотически настроенные рабочие в Москве били студентов, называя их «поляками»⁹; публика в Мариинском театре, на *приуроченном* представлении «Жизни за царя» освистала артистов, представлявших поляков; правительство издало указ, запрещающий мужчинам иметь длинные волосы, а женщинам короткие под страхом административной высылки — так Россия пришла в движение... И когда год спустя в Париже в Александра II выстрелил поляк Александр Березовский, никто ни удивился особенно, ни огорчился, ибо, как справедливо заметил в далеком Лондоне Герцен, «глупо еще раз огорчаться по одному и тому же поводу».

Но история с поляками неожиданным образом не закончилась со смертью несчастного Каракозова и уравновешивающим покушением Березовского. Национально-эстетические выводы были сделаны, и прежде всего русскими революционерами: тринадцать лет спустя, весной 1879 года, в Петербург к земле-

вольцам явились аж трое разочаровавшихся хождением «в народ» и желающих убить царя. Это были: русский Соловьев, поляк Кобылянский и еврей Гольденберг. В момент их появления землевольцы еще не собирались убивать царя, они пришли к этому решению лишь несколько месяцев спустя. Но с тремя будущими героями надо было что-то делать. Оказывать им помощь в официальном порядке землевольцы отказались, но в частном — решили поддержать одного, Александра Соловьева, ибо, как писала много лет спустя Вера Фигнер, «не поляк и не еврей, а русский должен был идти на государя»¹⁰. В самом деле, если царя однажды так огорчила национальность Каракозова, то его следует еще раз огорчить тем же самым. И, конечно, такое важное дело, как царевбийство, не должно было выглядеть узконациональной мстью, оно должно было символизировать отречение русского народа от русского царя. Выходя «на дело», Соловьев зарядил свой пистолет медвежьими пулями — соответственно масштабу дичи.

Если (по крайней мере, в обывательском сознании) поляки уже сто шестьдесят лет гонялись за русским царем, — должен или не должен был наступить час исторического реванша? Всегда ли в дело должны вмешиваться патриоты Сусанин и Комиссаров, вставая грудью на пути коварных извергов? Настало, наконец, 1 марта 1881 года, день триумфа и не оправдавшихся упований народовольцев. Царь был убит бомбой Игнатия Иохимовича Гриневицкого; сам метальщик был смертельно ранен при взрыве. И тут мы наталкиваемся на трудно объяснимые факты: мало того, что смертельно раненый Гриневицкий, на минуту пришедший в сознание, на вопрос о том, кто он, прошептал: «Не знаю». Его старшие товарищи по партии, Перовская, Желябов и другие, упорно отказывались на следствии назвать его имя — почему? Они ничем не могли покойному повредить — разве что его родственникам. Напротив,

можно предполагать, что народовольцы были заинтересованы в том, чтобы имя героя стало известно. Но они молчали — из соображений партийной дисциплины или назло — или, быть может, по другой причине — потому, что юный герой своим происхождением противоречил национально-эстетической установке террористов — «не поляк и не еврей, а русский». Нельзя, конечно, категорически утверждать, что Гриневицкий был поляк («литвином» после ряда рассуждений называет его Тихомиров¹¹) — но он был католик и, разумеется, уж никак не был русским. Совершив подвиг, значение которого народовольцы никак не могли преуменьшать, он, тем не менее, испортил им песню. Может быть, не будь организация в таком тяжелом положении из-за людских потерь, вызванных арестами, Перовская и не поставила бы его в цепочку метальщиков, может быть, если бы Тимофей Михайлов явился на место действия, а Николай Рысаков кидал бы свою бомбу чуть прицельнее, царевбийца и оказался бы русским. Но этого не случилось.

«Древний спор славян между собою» завершился в 1918 году, когда Ленин отпустил Польшу на свободу. Следы «польского вопроса» совершенно стерлись в национальном сознании, даже в его обывательском варианте. Любопытно, однако, что уже в начале XX века национальный акцент в деле русского терроризма смещается в сторону другого «национального меньшинства» — евреев. А. Гейфман в книге «Революционный террор в России: 1894–1917» подробно разбирает террористические движения на окраинах Российской империи (в Польше, Финляндии, Армении¹²) и указывает на то, что именно количество евреев во многих максималистских и анархистских группах более всего бросалось в глаза и раздражало современников, о чем свидетельствует приведенный в книге анекдот: «Расстреляно в крепости одиннадцать анархистов; из них пятнадцать евреев»¹³.

Изучение эволюции «внутреннего врага» в XX веке можно продолжить. Тогда, минуя «иностранных шпионов» и «замаскировавшихся» поборников мирового империализма, которых старательно ловили в годы сталинского режима, мы неизбежно выйдем на анализ современной ситуации и на историю современного российского терро-

ризма. Годы идут, и мы имеем все ту же картину с небольшой поправкой: у нас по-прежнему есть террористическое национальное меньшинство. Вопрос о том, является ли современный российский терроризм чеченским, то есть узконациональным, или крылом международного терроризма, остается поводом для дискуссий.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Например, восстание греков-христиан против притеснителей турок Александр I воспринимал как «революционный признак времени» и рассматривал его как бунт подданных против законной власти, не считая себя вправе заступаться за угнетенных единомышленников. <...> Николаю I, были близки и понятны благородные начала христианской политики, сохранения мира, законности и европейского равновесия, в чем он стремился следовать своему предшественнику, наследуя вместе с ним и его проблемы. Ему как последовательному законнику и решительному противнику любых революционных проявлений приходилось даже заступаться за турецкого султана от восставших христиан, не допускать агитации в пользу славян в Османской империи и в Австрии». *Тарасов Б.* Рыцарь самодержавия // Николай Первый и его время: В 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 3–56. С. 43.

² *Добролюбов Н. А.* Когда же придет настоящий день? // *Добролюбов Н. А.* Сочинения: В 9 т. М.; Л., 1964. Т. 6. С. 96–104.

³ *Смирнов А. Ф.* «Секретный узник» // Узники Шлиссельбургской крепости. Л., 1978. С. 118–128.

⁴ Например, история знакомства Аполлинарии Сусловой с писательницами Е. Тур и М. Вовчок: М. Вовчок, поговорив о творческих планах и о Герцене, завела «неприличный» разговор о летних платьях; Е. Тур и А. Сулова, едва познакомившись, кинулись друг другу на грудь и «долго рыдали над несчастьями бедных поляков». Потом они дружили всю жизнь. (*Сараскина Л.* Возлюбленная Достоевского: Аполлинария Сулова. Биография в документах, письмах, материалах. М., 1994. С. 157).

⁵ «Выстрел 4 апреля нам не по душе. Мы ждали от него бедствий, нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик. Мы вообще терпеть не можем сюрпризов, ни на именинах, ни на площадях: первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны». *Герцен А. И.* Иркутск и Петербург (5 марта и 4 апреля 1866 года) // *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 19. С. 58–65. С. 58.

⁶ А. И. Герцен цитирует фрагмент из статьи Каткова: «Полагают, что это переодетый революционный эмиссар» (*Герцен А. И.* Иркутск и Петербург (5 марта и 4 апреля 1866 года) // *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 19. С. 58–65, 63). «Революционное» подозрение сменилось национальным: «Он чисто говорит по-русски», — сказано в первой официальной информации о выстреле («Северная почта», 5 апреля 1866 г. № 70). «Он не русский, он не может быть русским! <...> Он поляк». (Статья Каткова в газете «Московский телеграф». 1866. 8 апреля. № 73). Первое достоверное сообщение о личности покушавшегося появляется 13 апреля в № 77 «Северной почты»: саратовский помещик Д. В. Каракозов (Цит. по: *Герцен А. И.* Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 19. С. 384).

⁷ О покушении Каракозова глазами человека, хорошо его знавшего, см.: *Ралли З. К.* Воспоминания З. К. Ралли. Публикация М. Клевенского // Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 135–146.

⁸ *Кропоткин П. А.* Записки революционера. М.; Л., 1933.

⁹ *Ралли З. К.* Указ. соч. С. 144.

¹⁰ *Фигнер В.* Александр Соловьев // *Фигнер В.* Полное собрание сочинений: В 7 т. М., 1932. С. 193–199; 197.

-
- ¹¹ Тихомиров Л. Воспоминания. М.; Л., 1927. С. 319.
¹² Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. М., 1997. С. 18–64.
¹³ Гейфман А. Указ. соч. С. 51.

T. Sholomova

**THE NATIONAL PROBLEM IN THE HISTORY
OF RUSSIAN TERRORISM OF THE XIX CENTURY**

The issues of nationality in the history terrorism in Russia of the XIX century have been considered with respect to the identification of premises of the formation of social conflicts of modernity.